

Я хочу искать радостей вне времени... хотя бы мир и пришел в ужас от моих восторгов и, по своей грубости, не узнал того, что я хочу сказать.

Рейсбрук Удивительный

ВВЕДЕНИЕ

Судя по некоторым портретам, сохранившимся в замке де Лур, род Флоресса дез Эссента в былые времена состоял из могучих рыцарей и грубых вояк. Сдавленные старыми рамами, которые распирались их богатырскими плечами, эти воины наводили страх своими неподвижными глазами, своими, как ятаганы, усами и выпуклой грудью, покрытой панцирем, как огромной раковиной.

Это были предки; от последующих же поколений не осталось портретов, и в семейной галерее этого рода было пустое место. Только одно полотно служило связью между прошлым и настоящим: таинственная и хитрая голова с безжизненными истонченными чертами лица, со скулами, отмеченными пятнами румян, с напомаженными и украшенными жемчугом волосами, с набеленной шеей, выступающей из выреза жестких брыжей.

Уже в этом изображении одного из наиболее интимных приближенных герцога д'Эпернона и маркиза д'О обнаруживались пороки вырождающегося организма, и видно было преобладание лимфы в крови.

Падение этого древнего рода, без всякого сомнения, шло своим правильным ходом. Особенно резко была выражена склонность мужчин к женственности; и, как будто для того, чтобы довершить работу веков, дез Эссенты в продолжение двух столетий связывали браком своих детей между собой, ослабляя остаток их сил в единокровных союзах.

Из этого некогда столь многочисленного рода, занимавшего почти все территории Иль-де-Франса и Бри, остался единственный отпрыск, герцог Жан, расслабленный молодой человек, тридцати лет, анемичный и нервный, со впалыми щеками, со стальным взглядом холодных, голубых глаз, с большим, но прямым носом, с сухими и тонкими руками.

И — странное явление атавизма — последний потомок был похож на древнего предка, «фаворита»: такая же, как у него, острая, белокурая борода, такое же двойственное вы-

ражение лица, лукавое и усталое в одно и то же время.

Детство его было печально. Измученный золотухой, одолеваемый упорными лихорадками, он пережил период возмужалости только благодаря чистому воздуху и хорошему уходу; а позднее спасли его нервы: они победили бессилие и дряблость, происходящую от малокровия, и довели до конца процесс его развития и роста.

Мать, высокая женщина, молчаливая и бледная, умерла от истощения, отец умер от какой-то неопределенной болезни; дез Эссенту было тогда семнадцать лет.

Он сохранил о своих родителях только жуткие воспоминания, без благодарности, без любви. Отца, жившего обыкновенно в Париже, он едва знал, мать он вспоминал неподвижно лежащую в темной комнате замка де Лур. Изредка муж и жена встречались, и в его памяти вставали эти дни бесцветных свиданий; отец и мать, сидящие друг против друга за круглым столиком, при одной только лампе с большим, низко опущенным абажуром, так как нервы герцогини не выносили ни света, ни шума; в тени они едва обменивались дву-

мя-тремя словами, затем герцог равнодушно простался и как можно скорее уезжал.

У иезуитов, куда Жан был отправлен учиться, его жизнь была спокойнее и уютнее. Отцы иезуиты обласкали ребенка, поразившего их своим умом, хотя, несмотря на все старания, они не могли добиться того, чтобы он отдался регулярным занятиям; он хватался за разные предметы, очень быстро и основательно изучил латинский язык, но зато совсем не мог связать двух слов по-гречески, не обнаруживал никаких способностей к новым языкам и оказался совершенно тупым, когда старались втолковать ему элементарные начала наук.

Его семья мало занималась им; изредка отец навещал его в пансионе. «Здравствуй, здравствуй, — говорил он, — будь умным, учись хорошенько». На каникулы, летом, его брали в замок де Лур; присутствие его не выводило мать из ее задумчивости, она едва замечала сына или смотрела на него в продолжение нескольких минут со скорбной улыбкой, затем снова погружалась в искусственную ночь, царившую в комнате благодаря плотным занавесям на окнах. Слуги были скучные

и старые. Ребенок, предоставленный самому себе, в дождливые дни рылся в книгах, а в хорошую погоду бродил по полям. Большой радостью для него бывало спускаться в небольшую долину, доходить до деревни Жютины, расположенной у подножия холмов — маленькой кучки домиков в соломенных чепцах, усеянных пучками зеленицы и пятнами мха. Он лежал на лугу, в тени высоких стогов, слушая глухой шум водяных мельниц и вдыхая свежий воздух, струившийся с Вульси. Иногда он спускался до торфяных болот, до черной и зеленой деревушки де Лонгвилль, или же взбирался на косогоры, нанесенные ветром, откуда пространство казалось беспредельным. Там, с одной стороны, под ним, была видна ему долина Сены, убегающая в бесконечную даль, сливаясь с голубым небом; — с другой, высоко на горизонте — церкви и башни Прованса, которые, казалось, дрожали на солнце в золотистой, воздушной пыли. Он читал или грезил, оставаясь до самой ночи в полном одиночестве. Оттого, что он постоянно был занят одними и теми же думами, его ум сделался сосредоточеннее, а мысли его, еще не оформившиеся стали более зрелыми. По-

сле каждых каникул он возвращался к своим учителям более вдумчивым и более самостоятельным; перемены эти не ускользали от них — проницательные и хитрые, привыкшие, проникать в самую глубь души, они не заблуждались насчет этого живого, но непокорного ума. Они поняли, что этот ученик никогда не будет способствовать славе их учреждения, и так как его семья была богата и, видимо, не интересовалась будущностью ребенка, они перестали готовить его к выгодным поприщам, открытым для их учеников. Хотя он охотно спорил с ними о всяких теологических доктринах, привлекавших его своими тонкостями и казуистическими хитростями, отцы и не думали о том, чтобы посвятить его в орден, так как, несмотря на все их старания, вера его оставалась слабой. В конце концов, из осторожности и из боязни неизвестного, они разрешили ему изучать то, что ему нравится и пренебречь остальным, так как не хотели потерять уважение этого независимого ума из-за насмешек светских пустышек.

Так жил он, вполне счастливый, почти не чувствуя родительской власти монахов; он продолжал свои латинские и французские

занятия по собственному усмотрению, и хотя теология не входила еще в программу его уроков, он пополнил свой курс этой наукой, начатой им в замке де Лур, в библиотеке, которую завещал его прадед Дом Проспер, старый приор монахов-каноников Сен-Руфа.

Но настало время, когда нужно было покинуть школу иезуитов; он достиг совершеннолетия став полноправным обладателем своего состояния; двоюродный брат его и опекун граф де Моншеврель сдал ему отчет. Прежние отношения с ним продолжались недолго, так как не было точек соприкосновения между этими двумя людьми, из которых один был стар, другой — молод. Из любопытства, от нечего делать, из вежливости дез Эссент посещал его семью и несколько раз попадал в его отеле, на улице де-ля-Шез, на томительные вечера, на которых родственницы, древние как мир, говорили о дворянских фамилиях, о геральдических причудах, о старинных церемониалах. Мужчины, сидящие за вистом, казались еще более застывшими и ничтожными существами, чем эти старухи. Потомки древних рыцарей, последние ветви феодальных родов, являлись дез Эссенту в образе

полупомешанных стариков со слезящимися глазами, пережевывающих пошлые разговоры, столетние фразы. Как будто в этих старых черепах только и было, что цветок лилии, отпечатанный в их размягченных мозгах, как в обрезанном стебле папоротника. Невыразимую жалость чувствовал молодой человек к этим мумиям, погребенным в своих склепах из дерева и камня, во вкусе Помпадур, к этим противным бездельникам со взорами, постоянно устремленным на призрачный Ханаан, на воображаемую Палестину.

После нескольких посещений он, несмотря на приглашения и упреки, решил больше никогда не бывать там.

Затем он сошелся с молодыми людьми своего возраста и своего круга. Одни, получившие воспитание вместе с ним в католическом пансионе, сохранили на себе от этого воспитания особый отпечаток. Они ходили в церковь, на Пасхе причащались, часто посещали католические кружки и скрывали, как преступление, те предложения, которые они, опуская глаза, делали девицам. Это были большею частью неразвитые и лицемерные щеголи, торжествующие лентяи, утомившие

терпение своих наставников, но тем не менее удовлетворившие их желание показать обществу послушных и благочестивых людей. Другие, воспитанные в светских коллегиях или в лицеях, были менее лицемерны и более свободны, но и они были так же неинтересны и так же узки. Это были кутилы, увлеченные опереткой и скачками, играющие в ландскнехт и баккара, рискующие всем своим состоянием из-за лошадей, карт и дорогих удовольствий, существующих для пустых людей.

Безграничная скука была результатом годичного пребывания в этой компании; ее удовольствия казались дез Эссенту низкопробными и дешевыми, переживаемыми ими без разбора, без увлечения, без истинного возбуждения крови и нервов.

Мало-помалу он покинул их и сошелся с литераторами, с которыми его мысль должна была найти больше общего и с которыми он должен был чувствовать себя лучше. Но это был новый обман; его возмущали их злые и жалкие суждения, их разговоры, плоские как церковная дверь, их безвкусные споры, измеряющие ценность произведения количеством изданий и прибыльностью продажи.

В то же время он увидел свободных мыслителей, доктринеров буржуазии, людей, проповедывающих полную свободу, чтобы задуть мнения других, жадных и бесстыдных пуритан, которых он уважал как школу, но которые оказались ниже сапожников. Его презрение к людям возрастало; он понял наконец что мир в большей своей части состоит из наглых людей и глупцов. Решительно у него не было никакой надежды сойтись с такой душой, которая бы, как он сам, находила удовольствие в созерцательном покое, и подружиться с каким-нибудь писателем или ученым, у которого был бы такой же острый и отточенный ум, как у него. Расстроенный, недовольный, возмущенный ничтожеством мыслей, которыми ему приходилось обмениваться, он стал человеком, о которых говорил Николь, что они всюду грустят; он дошел до того, что стал царапать себе руки, страдать от патриотического и общественного вздора, передаваемого каждое утро газетами, раздражаться от восхищения, которого у всемогущей публики всегда достаточно в запасе для произведений, написанных хотя бы и без мысли, и без стиля.

Он стал мечтать об изысканной пустыне, о покойном уединении, о неподвижном уютном ковчеге, где бы он мог укрыться от бесконечного потока человеческой глупости.

Единственная страсть — женщина, могла бы еще удержать его от презрения ко всему миру, душившего его, но и она тоже была исчерпана. Он испробовал чувственные яства — с аппетитом прихотливого человека, одержимого причудами, человека, чувствующего внезапную жадность, но вкус которого быстро утомляется и притупляется. Во время общения с дворянчиками он принимал участие в тех разгульных ужинах, на которых пьяные женщины за десертом расстегиваются и падают головой на стол; бывал он также за кулисами, познал артисток и певиц и испытал на себе помимо врожденной глупости женщин еще и безумное тщеславия каботинок; потом он содержал знаменитых кокоток и способствовал обогащению тех агентств, которые доставляют за плату сомнительные удовольствия. Наконец, пресытившись и уставши от этой однообразной роскоши, от этих одинаковых ласк, он спустился до самых низов, надеясь утолить свои желания благодаря контрасту